

Воспоминания Георгия Валентиновича Гориневского (1892-1966) дополняют мой очерк о мистическом анархизме. Он был осужден по тому же делу, что и я, хотя мы встретились с ним впервые в Бутырках, в пересылочной камере.

Он получил такой же срок, как я, — пять лет исправительно-трудовых лагерей с последующей добавкой в виде «вечной» ссылки. По возрасту он был много старше меня и, соответственно, был глубже связан с движением мистического анархизма. Будучи архитектором по специальности, он обладал и талантом писателя. Его воспоминания, готовящиеся к печати, читаются как художественное произведение.

Сейчас вниманию читателя предлагаются два отрывка из книги воспоминаний Гориневского, хранящейся в семейном архиве. В первом из них проходит галерея портретов хорошо знакомых мне когда-то лиц, связанных с анархо-мистическим движением. Во втором — рассматривается вопрос о стратегии поведения обвиняемого на допросе. Множество различных, противостоящих друг другу аспектов содержит в себе эта проблема.

*В. В. Налимов*

#### Г. В. Гориневский **Воспоминания**

Еще работая сдельно в Институте Социальной Гигиены, выполняя плакаты, я встретил там одного человека (бухгалтера и кассира Института), заинтересовавшего меня своими разговорами на философские темы.

Михаил Алексеевич Назаров имел не очень привлекательную внешность. Резкий, сухой, придирчивый, очень желчный и язвительный, страшный педант в своей работе, всегда во мне вызывавшей тоску и скуку, он явно искал со мной сближения и приглашал зайти к нему на дом. Я долго избегал его; внешность этого человека и манера держаться совершенно не соответствовали моим представлениям о людях, занимающихся духовной наукой. А между тем мельком высказываемые им мысли задевали мои наиболее глубокие искания. Мне пришлось убедиться в том, что порой и поступки и поведение человека вступают в противоречие с его внутренней убежденностью. Человек делает не то, раздражается, сердится по пустякам, ворчит и бесится в семье и на работе, но он живет внутренне совсем другой жизнью, и там в своих помыслах и чувствах он благороден, спокоен, милосерден и бескорыстен! В быту у него сплошные срывы, однако сознание и чувствования переросли этот быт и его самого в быту. Наследственность, воспитание, избалованность богатством и благосостоянием в раннем детстве, природные кармические черты воплотившейся монады еще не перестроены на новый лад, на новый путь, намеченный сознанием... Эта перестройка — осознанная задача текущей жизни, а может быть и ряда жизней:

«Сквозь тьму ошибок и падений  
Мы к цели праведной идем»

Но от осознания цели до ее исполнения еще очень далеко... Я познал это по самому себе: интуитивно я всегда осознавал и предчувствовал высокие образы, действия и цели, но фактически от одной ошибки впадал в другую и бесконечно спотыкался, часто на том же самом месте. Зная это в себе, я, узнав ближе Михаила Алексеевича, понял, что пропасть лежит между его устремленным к свету «Я» топчашейся на месте его земной оболочкой. В нем не было сильной воли и желания работать над собой. Сын фабриканта — он был чрезвычайно избалован и капризен! Долго попытка Михаила Алексеевича зазвать меня к себе не удавалась. Но в конце концов во мне пересилило любопытство и огромный интерес к духовной тематике, о которой он постоянно заговаривал. Скоро я стал его постоянным гостем, а затем и Леля\* стала ходить к нему со мной...

Мих. Ал. был очень эрудированный в философии человек. Любил блеснуть своими знаниями, своей начитанностью, порой так и сыпал терминами, чем очень мучил меня, т. к. я не любил схоластических изложений и вуалирования ясного, не любил мною плохо запоминаемой терминологии.

Вся эта терминология в конце концов при известном волевом напряжении и при постоянной практике легко усваивается и даже облегчает лаконически излагать философские мысли. Но большей частью можно передать то, что думаешь, простым языком, без того, чтобы внимание у малоопытного, малоискушенного в философии слушателя, каким в данном случае был я, раздваивалось между смыслом-содержанием беседы и смысловым значением применяемых для выражения мысли знаков-слов-терминов! Мне всегда было обидно тратить силы на то, чтобы понять форму (конечно, в сущности она была необходима, как стенография для быстрого письма), в то время, когда я горел интересом к познанию содержания. Мих. Алекс. любил эту форму, жонглировал ею, упивался ею, постоянно цитировал Канта, Гегеля, Фихте и др. философов. У него была богатая библиотека, но он снабжал нас иной раз совсем особой литературой, не в печатных изданиях, а в машинописных. Здесь звучали мне чрезвычайно близкие мысли. Ясно было, что то, что он мне показывал, рассказывал и давал прочесть, было не им сочинено, что где-то он доставал эту литературу, что он сам с кем-то встречался и был рупором чьих-то мыслей и взглядов. Эти мысли излагались естественным, простым, не заумным языком, часто в почти зримых символах и образах. Но это не помешало Мих. Ал. перескакивать на привычный ему язык западных философов 18-19 вв. и поджари-

\* Елена Васильевна Черкаева-Гориневская, жена Г. В. (Прим. публикатора.)

вать нас в своем словоизлиянии на горячей сковороде нашего невежества (больше в забываемой терминологии, чем в содержании философских учений)...

После ряда вечеров и бесед, проведенных вместе, Мих. Ал. познакомил нас с гораздо более интересным и содержательным человеком, взгляды которого он нам высказывал и очерки которого нам читал.

Это был Алексей Александрович Солонович — мистик и анархист. Исключительно одаренный, талантливый, глубокий, умный человек с ярко выраженной индивидуальностью. В прошлом он был членом антропософского общества, от которого позднее отошел. Он сам все время вращался в интеллектуальной среде людей глубоких философских исканий. И кое с кем из них нам тоже приходилось встречаться. Все они были мистики, но не церковники, не догматики узких религиозных течений и эзотерических школ. Широкие взгляды, огромная терпимость к людям, ярко выраженная индивидуальность и самостоятельность мышления, непризнание авторитетов отличали этих людей. Большая эрудиция в вопросах философии, истории религий, критическое отношение к антропоморфизму в верованиях. К политической жизни они относились по-разному: были и равнодушные к этим вопросам, были и разделявшие анархические взгляды, считавшие, что только анархическое коммунистическое общество может отвечать высоким требованиям, предъявляемым к человеку в его устремленности к духовному подъему. Утверждавшие, что рабством являются любые экономические преимущества одних перед другими, что принципы, заложенные в учении Христа — любовь, братство, безвластье, отрицание собственности, — должны быть основой человеческого бытия на земле. При этом ничто не должно урезать свободы человека, кроме того, что чем-либо ущемляло бы другого или других. Я здесь объединяю духовное кредо тех людей, которых мне пришлось эпизодически встречать у Алексея Александровича, с которыми он дружил. Некоторые из них посещали Музей Кропоткина, где Солонович выступал со своими интересными лекциями! Скоро и я и Леля стали частыми посетителями музея и читаемых там разными людьми лекций.

Анархо-коммунистические взгляды, при мистической основе понимания жизни, были и нашими взглядами. И соприкосновение с людьми, думавшими так же, как мы, дало нам возможность осознать самих себя до конца. Я вступил в Кропоткинский Комитет. Моя работа по музею была очень незначительна в связи с моей большой занятостью, но все же я участвовал в размещении экспонатов, организации некоторых стендов, составлял сметы для ремонта помещений, приходивших в ветхость из-за постоянного отсутствия средств. Кроме того, я постоянно посещал заседания Комитета, про-

ходившие раз в месяц. В Комитете я был самым молодым, большинство составляли убеленные сединами старцы и старые женщины. Многие из них были политкаторжанами, были и шлиссельбуржцы, как председательница Комитета Вера Николаевна Фигнер, дружившая в свое время с П. А. Кропоткиным, и Шаболин — хранитель Музея, живший в нем.

Много было старых народовольцев, такие видные прогрессивные деятели, как Смидович и Вересаев, и постепенно таявшие из-за арестов анархисты. Я не застал то время, когда анархическая секция в Музее была ведущей, когда в нем велась энергичная работа. В мое время была одна тенденция — сохранить Кропоткинское наследие елико возможно дольше, не допускать раскассирования Музея и слияния его с Музеем Революции, где все, что в нем было ценного, будет убрано с витрин и даже, может быть, уничтожено. Практика подтасовки истории, ее искажения становилась в нашей стране все действенней. Если искажали Ленина, так в отношении к Кропоткинскому наследию ничего хорошего ожидать нельзя было! Ликвидаторские тенденции все усиливались и в самом Комитете: чувствовалась неизбежность слияния, и многие не хотели сопротивлением ставить свою спину под удар! Вера Николаевна, чувствовавшая свое бессилие в отношении новой власти, не желавшей считаться с ней и ее необыкновенным прошлым, не проявляла активности, на которую прежде была способна. У меня с В. Н. установились очень хорошие отношения... не знаю, за какие мои заслуги (их не было) — она мне очень симпатизировала и была исключительно внимательна. По разным делам я неоднократно бывал у нее. Человек она была прямой до резкости, говорила, что думала... седая старушка, прямая, не сторбленная, с прекрасными правильными чертами удивительно сохранившегося лица, когда-то очень красивого. Маленький штрих к ее характеристике. Однажды я, будучи болен, не смог в назначенное время прийти к В. Н. Вместо меня пошла Леля с сыном. На Всеволода, при всей его резвости и озорстве, временами нападала неожиданная застенчивость. Так случилось и здесь. Когда В. Н., достав коробку шоколадных конфет — свой академический паек (для того времени невероятная роскошь), — предложила ему взять конфету, он сконфузился и стал прятаться за свою маму. Тогда В. Н. захлопнула коробку и сказала: «Не хочешь, не надо!» Всеволод рассчитывал, что его будут уговаривать, но этого не случилось. А вместо этого В. Н., отложив в бумажку часть конфет, передала их Всеволоду «для папы», предупредив, чтобы он не смел ни одной конфеты из передаваемых съесть. Наказ был выполнен, а урок «не фокусничай» дошел до сознания! (Дошел ли?)

Много в музейном комитете встречал я людей в прошлом сильных, талантливых и интересных. Но здесь, в Музее они и сами

представляли собой музейную редкость — только прошлое: выдохлись, устали от жизни, не способны были на борьбу, искали покоя, сознавали, что жизнь не складывается, как они мечтали в своей борьбе, что надо было стремиться выправлять, опять бороться, но они были старенькие и сил не было. Можно было ворчать в своей среде, но не действовать, относительное материальное благополучие, даваемое им властью за прошлые заслуги, делание из них икон прошлого закрывало их протестующие уста, связывало их. Это была паутина, в которой они запутались. Это была система, применявшаяся властью к старым бойцам-революционерам. Даже такие крупные люди, как Горький, покупались тем фимиамом, который перед ними кадили! А жирок прорастал и окутывал старые сердца, когда-то откликавшиеся на любую несправедливость. В старые времена враг был очевиден — это был царский деспотизм, это была прогнившая система управления, это была эксплуатация ослепляемого народа. Это было глубокое социальное неравенство! А теперь кто представлял власть? Кое-кто из их прежних более молодых товарищей и новая волна людей, вышедших, казалось бы, из его недр! Им можно было верить, по крайней мере, так казалось! Фразеология у них была революционная, те дорогие сердцу слова, в которые вкладывались смысл жизни, сокровенные задачи... Но чувствовалось, что за новыми масками проскальзывали прежние ненавистные основы. От этого чувства отмахивались, хотелось верить и верили наперекор здравому смыслу. «Дер Вунш ист дер Херр дес Геданке!» — ничего не поделаешь!

Получалось, как некогда провидел Радищев в Оде «Вольность», огорченный затуханием революции во Франции, как об «неизменном» законе жизни: «Из мучительства рождается вольность, из вольности — рабство».

«О вольность, вольность — да скончаешь со вечностью ты свой полет!»

«Но корень благ твой истощится,  
Свобода в наглость превратится,  
И власти под ярмом падет».

*«Вольность» — 1790 год.*

Чувством собственного бессилия, жизненной усталости, изношенностью тела, душевным разочарованием, тревогой и неудовлетворенностью после огромной радости кажущегося осуществления всех твоих надежд, падением в бездну после взлета из-за измены твоих же товарищей, из-за огромной волны примазавшихся к Революции и подтасовавших карты, игравших краплеными картами

объясняется, что прежние революционеры не подняли голоса протеста против сталинской фальшивой карты игры, против партийного болота, поддакивавшего ему и дрожавшего перед ним! Это чувствовалось в Комитете, это было во всей стране. Конечно, было немало голосов, пытавшихся говорить, но им или вставляли кляп в рот, отправляя в места отдаленные, или замасливали преклонением и подачками с барского стола, или помогали эмигрировать во избежание репрессий. И с каких позиций бороться с новой властью? Ведь шкура-то у всех одна и та же, а народные массы смотрят на шкуру... докажи, что под шкурой скрыта подмена, скрыт подлог! Это вскроет история, но когда? Через десятилетия, через века, может быть! И кто из живущих в этом будущем сумеет понять, не заблудившись, что произошло... Халифы на час постараются на долгие годы замутить воду, уничтожить компрометирующие их документы, и подлые люди долго будут выглядеть для потомков — святыми, иконами!

Историю пишут победители! Широкие народные массы знают только их «ортодоксальную правду», только искаженное предание!

Но те люди, с которыми Леля и я искали общения, не были слепыми людьми. Авторитарность признанных вождей их не удовлетворяла. Выработанным модулем высшего, бескомпромиссно-лучшего, наиболее светлого, наиболее прекрасного измеряли они жизнь. Даже к учению высочайших гениев — Учителей человечества они подходили, отмечая как наносное, позднейшее, приклеенное все, что не отвечало этому модулю, этим требованиям! Все «готовые истины», все формулы высокой морали пересматривались под углом требований, предъявляемых «совестью», интуицией, чувством любви и сострадания к страдающим, к скованным в рабстве физическом и духовном. Отвергнуть все навязанное, все внутренне противоречивое, все рассудочно надуманное — в этом была и их, и наша цель...

Мы очень много читали, пополняли пробелы наших знаний: читали гностическую литературу, читали мистиков Средневековья — Экхарта, Беа и др. Наткнувшись случайно у букиниста на «Химическую Свадьбу» Христиана Розенкрейца, написанную на средневековом немецком языке, я с громадным трудом перевел эту вещь. Это было сильно зашифрованное философско-мистическое произведение, написанное, кажется, в 15-м веке. Мистерия Химической Свадьбы, ее образы и символика требовали большой работы для разгадывания. Но вещь эта представляла значительный интерес. Много мы читали исторических книг и исследований по вопросу о Средневековых рыцарских орденах и масонских ложах... об еретических движениях альбигойцев, катаров, вальденсах, гуситах. Эти революционные организации, восстававшие против несправедливости народа и против искажения христианства ортодоксальным католи-

чеством и папской курией, содержали тайные учения, уходившие в глубь веков и перекликавшиеся с первоисточниками христианства, с эзотерическими учениями, отвергавшимися официальной догматикой как еретические.

Читали мы книги по русскому расколу и сектантству и мистическую художественную литературу. Разбирали Евангелия, сопоставляя их с учениями Кришны «Бхагавад Гита» и Будды — «Сутта Нипата». Эти занятия были не только поисками принципов высочайшей морали личного и общественного поведения, но и медитационным углублением в эти произведения глубочайшей мудрости. Владение иностранными языками помогло мне прочесть очень интересные книги, с подробными описаниями и разбором Египетских и Эллинских мистерий («Святыни Востока») и даже перевести эту большую книгу. (К сожалению, перевод этот, как и ряд других моих переводов и работ того времени, погиб.)

Мы с Лелей жили исключительно напряженной творческой жизнью. У нас не было досуга, все свободное от службы и от занятий с детьми время (2 раза в неделю вечера я проводил со своими старшими сыновьями, занимаясь с ними рисованием, организуя кукольный театр, делая с ними вместе декорации, кукол, стихотворный текст постановок и т. д.) у нас уходило на чтение, составление конспектов, переводы, посещение лекций, выставок, записи мыслей и др. работы. С Ал. Ал. Солоновичем мы встречались до 30-го года, когда он был арестован и сослан, а в 37-м году расстрелян!

Солонович был сильным активным человеком. Выступления его, его лекции в аудитории Кропоткинского музея, сопровождавшиеся диспутами, были захватывающе интересны и остры. Его резкая критика марксизма приводила в ярость его оппонентов, бесспорно менее эрудированных, чем он. Они пользовались трафаретной большевистской пропагандистской литературой, демагогичной и поверхностной, пригодной для втирания очков политически неграмотным и не умеющим самостоятельно думать людям.

А он мыслил самостоятельно, знал и цитировал первоисточники. Кругозор у него был не ограничен тесными рамками партийности и догматами экономических доктрин, исторические и социологические познания его были весьма обширны; своих противников он раскидывал и обличал, как слепых, косноязыких щенков. Их невежество, безграмотность из них так и выпирали при сопоставлении с его знаниями. Он касался в своих лекциях не только социологических вопросов, но вопросов общего мирозерцания. Громя церковников и их антропоморфизирование божества, их идолопоклонство, он резко доказывал всю ограниченность материалистического миропонимания, его непоследовательность и невоз-

возможность с материалистических позиций установить высокую этику, необходимую при коммунистическом обществе! Беседы носили научный характер, но были восприняты властью как агитация, как подрыв устоев. Убедительность речей Ал. Ал., его умение излагать свои мысли, логика и широта его взглядов привлекали к нему молодежь, и все его лекции проходили при до отказа переполненной аудитории. Занятия, проводимые Солоновичем, носили характер семинаров, прочитал он целый большой цикл лекций. Эпизодические лекции других лекторов такого успеха не имели.

Запомнилась мне только лекция художника Никитина, вернее, не сама лекция (содержание ее я не помню), но своеобразный подход к различным течениям в искусстве в разные исторические эпохи. Он разбирал эти художественные стили с точки зрения динамики духовного роста человечества, с точки зрения заложенной в них действенной духовности — идеи: в начальные архаические периоды зарождение направления и постепенное обрастание этого духовного ядра блеском внешней формы, скрывающей сущностное (расцвет), и, наконец, выхолащивание содержания при сохранении внешнего — пышного, даже вычурного — эклектика — упадок! За внешней формой — идея утрачивается: «Дух отлетел»

Близкую тему я развил в одной своей работе по архитектуре. К сожалению, она тоже погибла, как большинство моих работ и стихов того времени: их прятали, зарывали в землю, боясь предвзятых неправильных толкований и преследований, а потом теряли, по прошествии ряда лет, места их захоронения! В этой работе, насколько я помню, я устанавливал различие в подходе к культу и в раскрытии мистической тайны Божества в Древнем Египте и Христианстве. Само решение объемов и построение плана сооружения в Древнем Египте шли по линии ограничений возможностей проникновения широких масс к тайнам святилища. В наружные дворы, широкие и просторные, обрамленные высокими пилонами по углам, допускались все. Дальше, по мере приближения к святой святым, проходя анфиладами помещений и дворов с колоннадами, все эти дворы и помещения уменьшались в размерах, становились все интимнее и в плане, и по высоте (пол повышался, потолок снижался). И, наконец, за завесу могли проходить только верховные жрецы. Совершенно иным был принцип христианских храмов и базилик: узкими вратами входили верующие в здание молитвы, помещения по мере продвижения расширялись и повышались, и перед иконостасом и престолом была самая широкая часть под огромным высоким куполом. Сюда приходили на молитву все верующие. В своем анализе развития архитектурных форм я проводил параллели между разными сооружениями церковного зодчества по эпохам, в зависимости от напряженности и характера человеческих



исканий разных исторических периодов. Напр., готика со своими стрельчатыми арками, устремленными ввысь, разрывающими античную замкнутую форму арок, с крестовыми сводами, контрфорсами, с тем же общим стремлением оторваться от земного, в полете вдохновенных мыслей: динамика исканий и веры. То же в древнерусских церквях с их шлемовидными главками, с их переходами от куба к восьмиграннику и к барабану, несущему главу храма. То же в русских звонницах, с их треугольными перекрытиями или в форме шатровых храмов! И рядом с этим — плоские перекрытия, спокойные горизонтальные линии, параллельные земле — успокоенность: цель здесь, на нашей планете, отрываться от нее не стремится человек. Я говорю отрывочные мысли из этой моей большой работы, с трудом мною вспоминаемой.

18-го марта, в день Парижской Коммуны выступал в аудитории Кропоткинского Музея 80-летний старец-коммунар, анархист, участник Коммуны. Прямой, высокий старик говорил очень хорошо, проникновенно. Его, как старого коммунара, первое время повсюду приглашали выступить: на рабочих митингах, собраниях, вечерах. Но скоро эти выступления власти предержавшие прекратили: то, что он говорил, было резко оппозиционно ко всей внутренней политике большевистской партии, руководимой Сталиным, и диктатуре пролетариата. Трогать его не могли, но запретить его приглашать ничто не мешало: слишком большой успех он имел среди рабочих. Поэтому его стремились изолировать от людей. От его речи в Музее (где, пока существовала аудитория, ему всегда были рады) веяло вольным воздухом, свободной критической мыслью, ставившей все на свои надлежащие места. Говорил он спокойно, без жгучей иронии Солоновича, без его резких, порой желчных выпадов, но выводы его, но его разоблачения были убедительны до бесспорности, хотя запальчивости в нем не было... а была спокойная мудрость, уверенность в своей правоте! Мне пришлось Сажина слышать только один раз, он болел и редко имел физическую возможность выступать. Я собирался тоже выступать со своим докладом по архитектуре, но пока я готовился к этому, произошли события, которые совершенно изменили обстановку...

Подсылая своих «агентов» в музей на лекции и в читальный зал при очень неплохой библиотеке, наши органы «госбезопасности» — наше «Г.П.У» взяло на прицел всех наиболее активных людей, бывавших там, выступавших или слишком частых посетителей и решило расправиться с ними. В 30-м году последовали массовые аресты: брали анархистов, брали и случайных людей — оптом и в розницу! По старым спискам и по новым наблюдениям... А попав в это добродетельное учреждение, выйти из него, причастен ли ты к чему-нибудь или нет, даже уже в 30-м году было

нелегко! Но, конечно, это был еще 30-й, а не знаменитый 37-й год! Гости с синими околышками пришли и за мной, и за Лелей. Леля болела, была на бюллетене с высокой температурой, и они, позвонив куда полагалось, оставили ее в покое (в те годы это было возможно!). Тщательный обыск. Все перерыто, все поставлено вверх дном! Понятой — сосед по квартире (Бренев), с которым у нас были весьма далекие, но дружественные отношения, садится на портфель, который я перекладываю с места на место, не желая, чтобы он попал на глаза, и остается на нем сидеть до конца обыска... такой помощи я от него не ожидал! Ничего не найдено, ни одной компрометирующей бумаги, ни одного письма, по которому, как по ниточке, можно намотать целую катушку всяких дел... Осмотрены книги, но тут, хотя и есть нежелательная анархическая литература, но ведь она не запрещена, не изъята в это время еще. Все же кое-что отбирается. Писем нет, так как я взял за правило их не хранить, кроме очень древних, на которые в этот раз не обращали внимания. Тщательный просмотр фотоальбомов, но и здесь ни к чему не придерешься. Да вообще, в сущности, ни к чему и придираешься-то нельзя было бы, если бы и нашлись письма. А рукописи с мыслями, дневник, наполненный не встречами и людьми, а моими исканиями, запрятаны так, что не найдешь (хотя никогда я в прошлом не был конспиратором, но меры всегда принимал). Книги на иностранных языках: тут было бы чем поживиться, если бы эти грамотеи знали иностранные языки: Шюре, Леви, Штейнер и т. д. и т. п. Повертит книгу и положит на место, а ему подскажешь: «Что — французскими романчиками заинтересовались?» — и охота перебирать эти книги отпадет. Ведь никому нет удовольствия в том, чтобы демонстрировать свое невежество!

Звонки по телефону, в уборную с провожающим, чего-то ждем... Леля собирает вещи... Поехали! Внизу ждет черный ворон. Все готово, даже любопытно, но внутри нервная дрожь ожидания... Впечатления 30-го года этих дней стерты из памяти более острыми «вразумительными» впечатлениями 37-го года... Знаю, что сидел на Лубянке, но не в главном, не в угловом корпусе, а в малом двухэтажном во дворе с улицы за чугунной оградой. В камере сидело много народу, человек 40, не меньше. Знакомых никого, но ошибочные вызовы по фамилиям (еще тренировка с охранником не доведена до совершенства) не сидевших со мной, но знакомых лично или понаслышке на воле, определяли широту и глубину произведенной операции, широту охвата.

Вот и меня вызвали к допросу. Разговор корректный, прощупывание, разве сравнишь с тем, что было в 37-м году! Основные вопросы вокруг музея, вокруг Солоневича, его лекций, читавшихся и отпечатанных на машинке, о его работах «Христос и Христиан-

ство», «Иелдобаоф».. Вопросы мирозерцания... резко отграничиваюсь от какой-либо партийности: «Партии анархистов нет и по смыслу учения не может быть»! На лекциях бывал, но на машинке напечатанного не читал! «Отношение к Советской власти — лояльно»... «Отношение к Г.П.У. — тот топор, который подрубает дерево Советской власти! — рождает недовольство, множит врагов: арестовывая одного (к тому без основания), настраиваешь против Советской власти десятки его близких друзей, знающих его порядочность и революционную настроенность». Сильно не понравилось, запомнили, вспомнили в 1937-м и в 1951-м гг. Задело за живое! Появилась враждебность, но сдерживались или что-то сдерживало! Что мне осталось до конца неясным — что со мной держались в тот раз не так, как со многими. Холодно, очень холодно, но в вожжах. Кто-то держал? И даже раздражение от моей реплики о «топоре» проглотили! Через три дня меня отпустили. Думается, что отец мой вмешался, от меня это скрыли. Но отца знал Подвойский, Механошин, он был основоположником советской физкультуры, он читал лекции на курсах военных, кажется, и на курсах для Г.П.У. Сказочно быстро было освобождение. Или решили посмотреть: что будет дальше? Не стану ли я приманкой, червячком, наблюдая за которым, можно еще кого-нибудь выловить? А ведь обличительного материала никакого, только мировоззрение, только жгучая реплика о топоре! Когда я узнал, как много народа пострадало, мне даже как-то внутренне было неловко, что я отпущен, а другие поехали, кто в изолятор, кто в лагерь, кто в ссылку! Я не могу сказать, чтобы я умно держался... Осталось недоумение.

Вышел из тюрьмы, деньги отобраны, тюк за плечами, до дому шествуй через всю Москву пешком! Рискнул подойти в табачный ларек, попросил у незнакомого продавца одолжить мне на трамвай, сказав прямо, откуда. Поверил, одолжил! Дома беспредельная радость, просто сказочное чудо. Жизнь вернулась в свое русло, но чудесных интереснейших людей уже не было среди нас.

Прекратились лекции, аудитория Музея пустовала, ни одного из выступавших не оставили в покое. Закрылась и анархическая библиотека, наш с Лелей любимый и дорогой друг, заведовавшая библиотекой, уехала в ссылку в Караганду, а затем в Кустанай. Это была чудесная девушка, мальчишеского вида, смелая, прямая, чуткая, обаятельная и большая умница. Нам обоим всегда с ней было очень хорошо, мы говорили на одном языке. Кажется, ни с кем, кроме нее, у нас не было столь глубокого взаимопонимания по самым существенным для нас вопросам. Мы были близки со многими людьми, со многими мы находили точки соприкосновения, но ни с кем мы так полноценно не дополняли друг друга, как с О. С. Пахо-

мовой. Она была моложе нас, хрупкая, болезненная, она горела внутренним огнем, много читала, много занималась. Она была талантлива, писала неплохие стихи, рисовала... Ум у нее был подвижный, насмешливый... она очень любила шутку, порой даже озорную, что в ней было родственно мне. Это была в нас обоим особая способность, особенная направленность нашего живого ума, совмещавшего строгость и требовательность к себе, способность быть серьезным и рядом с этим легкомыслие, шалость, безудержность дурачества в веселье совсем не серьезного характера.

С ней в ссылку поехала ее подруга, дочь артиста Розен-Санина (Коваль-Самборская), пожелавшая скрасить ее горькую долю и одиночество, преодолев сопротивление не очень-то благосклонно на это смотревших властей. С Ольгой Степановной, с Женей Коваль-Самборской и еще с одной нашей общей приятельницей Ниной Эрнестовной Явейн до ареста О. С. мы часто встречались, проводили вечера вместе, даже вместе летом жили в деревне. Это было радостное солнечное время, полное веселья, смеха, а временами серьезных глубоких бесед. Нина Эрнестовна — Нина — служила предметом наших добродушных насмешек и шуток. С ней всегда были самые анекдотичные истории, о которых она сама с восторгом нам рассказывала, готовая сама посмеяться над собой, а мы с О. С. облакали это в стихотворную форму и, конечно, не без преувеличения заостряли. Жизнь в деревне, вечера наших совместных прогулок и серьезных бесед навсегда остались горячими воспоминаниями в памяти...

После разгрома 30-года очень мало осталось из тех моих знакомых, с которыми я познакомился в Музее. Кое с кем все же мы продолжали встречаться.

Редкие заседания Комитета я продолжал посещать.

Продолжал я бывать и в семье Солоновича, у его жены Агнии Онисимовны Солонович. А. Он., как и я, была членом Комитета, она была очень энергична, активна, работала в Черном Анархическом Кресте по помощи политзаключенным, была верным помощником мужу, но его умом, его глубиной не отличалась. Мы с ней поддерживали хорошие отношения, а летом брали ее младших ребят с собою в деревню.

Старший сын Солоновича где-то отбывал ссылку (он был совсем молоденьким). В эти годы я работал в Гипромаше в Правлении, был главным архитектором и председателем архит. секции Научно-Технического Совета. Эта работа сопряжена была с выездами на места, с контролем над работой в отделениях, раскинутых в ряде крупнейших городов Союза.

Когда Ольгу Степановну перебросили в Кустанай, находящийся на относительно близком расстоянии от Челябинска, где стро-

ился один из заводов нашей системы, я решил использовать свою командировку, чтобы на один день побывать у нее. Командировку я получил в Свердловск, но моя однодневная отлучка в Челябинск была вполне допустима. Сократив время пребывания в Свердловске, я с огромным трудом (без командировочного удостоверения) попал в поезд, идущий на Челябинск, где мне предстояла трудная пересадка на Кустанай. Ехал я нагруженный вещами, т. к. вез, кроме служебных бумаг и проектов, которыми меня загрузили в Свердловске, еще большую передачу — вещевую и продуктовую — О. С. Вещи у меня были трудноподъемные, а народу на вокзале было несметное количество. Поездов было мало. Транспорт был в разбитом состоянии и очень плохо восстанавливался. Места, как и в дни революции, по этим малым веткам брались с бою. Через невозможное все-таки попал на поезд. Кустанай был конечным пунктом ветки. Город был специально для ссыльных, местное население составляло меньшинство. Среди местного населения преобладали казахи. До конечного пункта народу ехало мало... По платформе расхаживали ГПУ-шники, разглядывали приезжих и отъезжающих. Больше всего меня стесняли вещи. Адрес мне был известен, но я долго разыскивал нужный мне дом. Я приехал утром, но уже в рабочие часы, приехал без предупреждения, т. к. сам не был уверен в удаче своего предприятия. А кроме того, посещение ссыльной не прямым родственником ставило меня на дополнительную заметку под удар. Дома я никого не застал. Где работали жильцы, хозяйка точно не знала. Оставив вещи, пришлось пойти на розыск, т. к. больше одного дня я оставаться не мог и терять время на ожидание было обидно. Блуждая по торговым конторам, я сравнительно скоро увидел О.С. и выманил ее. Большого удивления моим неожиданным появлением трудно себе представить. Первая мысль, конечно, была, что в эту обетованную землю и я попал не по своей воле. Когда опасения рассеялись, все трое радовались удаче. Но свидание было очень коротко, т. к. на следующее утро, чтобы не иметь неприятностей по службе и не вызвать подозрений, я вынужден был выехать. Все же с чувством удовлетворения возвращался я в Москву, но расставаться было грустно!<... > Ряд открытых процессов-инсценировок, имевших место все последнее время в жизни нашего государства, и соответствующие намеки следователя создали у меня убежденность, что готовится спектакль, где придется фигурировать в качестве действующих лиц анархистам-мистикам, к которым принадлежал я и многие мои друзья... Ожидание открытого процесса было большой ошибкой с моей стороны, предопределившей мое поведение... Мне не хотелось, чтобы меня публично уличали в противоречиях, во лжи, и мне казалось, что правильнее выступить с открытым забралом начистоту...

Отрицая наличие организации — «партии» анархистов, т. к. это нелепость, противоречащая доктрине, я не отрицал своего анархо-мистического миросозерцания! Но спорить с безграмотными людьми, имеющими обывательское суждение об анархизме плюс большевистское толкование его как мелкобуржуазного учения, — безнадежно! Все же толкование анархизма следователями и большевиками не могло унижить учение, и явной ложью было приписывание ему партийной организации, а не миросозерцания... Поэтому обвинение о создании антисоветской группировки можно было стремиться отвести... Признание же в мистическом миросозерцании было для следователя признанием мистической, а следовательно антисоветской группировки... Интересно, что следователь акцентировал анархизм, а не мистику, которую считал выдумкой для прикрытия основной «деятельности»... В постановлении по моему делу так и значилось: «контрреволюционная деятельность (анархизм)»...

Когда я понял, что никакого политического открытого процесса не будет, что нас постараются раздавить без шума, по-видимому, опасаясь компрометирующих власть выступлений неструсивших людей, то мне стало ясно, насколько неправильно было с моей стороны выступать перед следователями с открытым забралом... Следовало, вероятно, отрицать, отрицать и отрицать. Но смешным и глупым казалось отрицать там, где очными ставками можно было установить обратное... Сомнения в правильности моего поведения мучили меня почти с самого начала, но сказанного на первых допросах вернуть было невозможно, и пришлось держаться неправильно выбранного курса ответов...

Тут очень ярко сказалась одна черта моего характера, которую я не подозревал в себе, но которая не раз мне причиняла вред... Откуда явилась эта черта - не знаю! Черта эта заключалась в том, что я не всегда держался ранее принятого решения и мог в процессе беседы переменить решение, часто себе во вред! Почему я это делал? Во всяком случае, не под влиянием страха, т. к. очень часто я ставил себя под большой удар, чем если бы я остался на прежней тактической позиции... Это было скорее «перемудрил!» Это было иной раз желание резать правду, а не вилять на каких-то шатких позициях... Иногда это бывало под влиянием внезапных фантазий, когда я соглашался брать на себя трудную работу, от которой решил перед тем отказаться... причины были большей частью эмоциональные, вызванные разными противоречивыми чувствами, иногда под влиянием вихревых соображений и... точно кто-то меня потянул за язык, я говорил не то, что перед тем хотел говорить. Правильно сказано: «Не мечите бисера перед свиньями»... а я порой забывал, кто передо мной, и даже в следователе видел человека, на которого как-то можно повлиять, убе-

дять в чем-то... Это было глупо и наивно! Я часто интересовался, что это за люди, которые допрашивают и мучают по приказу сверху других людей? Ведь они же не могут не чувствовать, с кем они говорят, не могут не мучаться той ролью палача, которую они выполняют? Ведь и у них есть семья, мать, жена, дети! Неужели пройденная ими дрессировка, как в собаках-ищейках, переродила их психику — и лярва, а не человек, сидит перед тобою? Я не боялся собак, я умел уговором действовать успокаивающе на них... но эти люди-лярвы были, конечно, хуже злых собак. Они, по-видимому, были существами с перерожденным сознанием: ослепленные и оглушенные преподанными им инструкциями, убившие в себе человечность, одержимые фанатики, умевшие (хотя это было порой шито белыми нитками) прикидываться гуманными людьми!

*Публикация Л. А. Шутиковой*